



НЕ НАУЧИВШИСЬ ЖИТЬ по чьей-то
мудрой воле, —

лишь гибнуть по своей — и видеть наперед, —
заглянешь за окно: там вечный дворник Коля
весь дивный этот мир метет себе, метет.

Что снег ему, что зной, — в трюхе непременно.

Печаль пустых очей, как водится, светла.

Сияй, сияй, дыра у правого колена,

лети, моя листва, мети, его метла.

Мети, мети за всех, кто умерли и живы.

Вот — в клеточку листок, в линейчку — тетрадь.

Такие, оп-ля-ля, гражданские мотивы,

такое вот, браток, уменье рифмовать.

Вот — сонный мой диктант, примеры-уравнения,

имен безличных ряд и скорый перегной;

под уличный шансон, упорно, муравейно,

движением одним равняй меня с землей.

Я так хочу, как все. Смирись, моя страница,

пусть пестрый на свету сгорает черновик.

Когда б ты знала сор, из коего язвится

язвительность моя, таблетка под язык, —

ты глянула б не так на мой избыток бреда.

Я отойду, а он останется мести,

оплакивать, сгребать и складывать в пакеты;

мне тяжело дышать, но я в пути, в пути.

И рвутся из груди родные -оро, -оло.

Закончен марафет, лишь алый льется свет
на все, как быть могло, как будет скоро, скоро,
чему названья нет и будущего нет.



ТЕПЕРЬ — О ЧЕМ? О звоне колоколен,
о мышцах виноградин и давилен.

Се человек: силен — а стал безволен,

се артефакт: был волен — стал бессилен.

— Ну как же так, ведь при тебе, ragazzo,

бинты, лекарства, чистая водица.

— Иные лица среди прежних декораций.

Мне страшно. Надо заново родиться.

Спустись к реке, где кисть моя тонка,

где двое до последнего мазка

исследовали положение звука,

не понимая: дело языка —

не дело рук, но — приложивших руку.

Еще, еще, несмелая рука

запечатлит на уголке портрета:

среди неполучившегося лета

на всем стоит печать черновика.

— Да ты о чем? Неужто стал безроден?

— Да все о том: был смысл — и вот украден.

Но — как всегда: о тайнах подворотен,
колоколах, о звоне виноградин.



НОВОСТИ БЭЙБИ о жданном-негаданном
больше не врасплох
келья дымит фимиамом и ладаном
сверху смеется японский бог
жизнь оказалась не рощами-кущами
путь не трава не сныть
мало что может свернуть идущего
умершего убить
храни меня боль от того что упущено
от всего что могло бы быть

ты воспитаешь веселого первенца
скоро через года
дай боже кредит жить во что не верится
не верилось никогда
в май-первомай зашагаем уверенно
не отставай держись
я распрямлюсь дочитаю пелевина
проще взгляну на жизнь
понапишу если пленка прокрутится
много дурных стихов
помнишь как пили в таверне на фрунзенской
кнопку нажми it's off

там остается из памяти выкован
бронзовый человек
кто его бедного вылюбит выкормит
уронит обратно в снег
прошлого отсвет прохладно-коричневый
я уязвим ужаль
жаль только жить в эту пору вторичную
но и того не жаль



КОГДА ЧЕЛОВЕК умирает,
остается его ЖЖ.
Человек умереть решает,
но смерть невозможна уже.
Он не знает, что смерти теперь не бывает.
Подзамочная запись тихонько мигает
глазом-ягодой в диком саду.
Это свыше душа за тобой наблюдает,
изменяет свой облик земной, подправляет,
отдаляя его на ходу.
Где-то трещинку вычертит, где-то морщинку,
незаметно подменит бревно на соринку,
молча выберет ракурс иной.
Из груди вырывается сдавленный коммент:

как же так, мы же смерти не ждали такой вот —
только жизни. И только — живой.

...Когда человек умирает,
изменяется его ЖЖ.
Он просто не отвечает,
во времени застывает,
твердеет, как рана в душе.
Нет тебя с сентября. Боль грустит-поживает.
Пусть растет пустоцветом, большая-большая,
в темноте, в тишине, под замком.
Я читаю твой постинг — последний, случайный.
Смысл уносится в небо, становится тайным.
И хлопочет незнамо о ком.



ЕСЛИ СТАНУТ БИОГРАФЫ время искать
в дневниках
для надутых портретов и пухлых лихих
диссертаций,
подскажи им, пожалуйста, чтобы не смели
соватьсь
в эти бредни терновые, мой утопический страх,
в эту тряскую пору, где мне девятнадцать
и двадцать:
я им сам расскажу и все карты оставлю в руках.
Истекающий клюквенным соком естественной
речи:
господа, налетайте, читайте, не стоит бояться.
Будет капелька мифа, чуть-чуть мемуарного
глянца.
Нерожденные дети. Убитые судьбы. Невстречи.

— Эй, звезда, посмотри-ка, не видно ль
в потомстве следа?
Ну тогда подчини все тому, чтоб не зря умирать,
чтобы влага не смыла с плиты рукотворное имя.
Память выбросит слайды: разлитая в небе беда,
раздраженная просьба — о времени и о себе.
Мы шатаемся праздной толпой по июньской
Москве.
(Если олухи годы спустя не поленятся нас
изучать, —
подскажи им, пожалуйста: пусть вспоминают
такими).

Рома М., Света Г., Леня З. (мы чуть позже
поймем,
как слова заменяемы, как совпадения случайны).
А пока нас кривая ведет от распаренной чайной
прямо к дому поэта, увитому диким плющом.

Рома М. говорит, сигарету приблизив ко рту,
почему, мол, поэты такие в быту, как в аду,

нервно лгут, сквернословят, ругают коллег.
Я, плечами пожав, бормочу лабуду, ерунду,
что поэту диктует, мол, голос по сторону ту,
что поэт, мол, иной человек и вообще,
не совсем человек.

...Я не знаю и нынче. Вопросы, ответы,
вопросы.

Вечер дышит на ладан. Уносится дым
папиросы.

Мы расходимся: Питер, Китай,
полюса-направленья.

Переезды одних, переезды других, перемены
во мне.

Подтверждается фраза из давнего
стихотворенья,
что ни с кем, ни о чем и, наверно, не в этой
стране.

Я стою, провожаю-встречаю — такая работа:
понимать, раскрывая объятия: опять никого там,
как горластое чадо, баюкать обиду свою...

...Если всем нам задумают памятник
нерукотворный, —
придержи мне, пожалуйста, место на самом
краю.



Как провожают уходящих навсегда, —
не как иных, не уходящих навсегда.
Зима, ночной перрон, и зубы в два ряда
о пластиковый чай.
В замерзшем горле вырастает человек,
как снегу прежнему на смену — новый снег.
И чтобы он сейчас не прыгнул из-под век —
шуты, болтай, крепчай.

Не надо слезностей, заламываний рук.
Как звуку прежнему на смену — новый звук,
останется тебе — и-мэйл, контакт, фэйсбук.
Дрожит фонарный круг.
Как было много их — из сердца, с глаз долой,
на кон поставивших болотистый покой,
умеющих рывком покончить с маетой,
и с прошлым, и с тобой.

Так старше стал на человека — человек.
Так веку новому — на смену прежний век.
С уходом каждого — привычнее беда:
так застывает лед.
Так провожают уходящих навсегда:
лишь ты стоишь, пока уходят поезда.
А кто-то «Не скучай» начертит на окне.
И мимо проплывет.

Колыбельная

Так нынче в комнате светло,
что кажется — темно.
Так сердце от беды светло,
что кажется — в стекло
стучит, выпрашивает пай:
немного хлеба, крепкий чай.
Качаем люльку, баю-бай.
Ребенок, засыпай.

Пускай приснится теплый дождь
и добрый китоглот.
У каждого на сердце ложь
и свой к другому счет.
Ну а с тобой — наоборот,
ты был и есть — наоборот.
Стучи, стучи, базарный грош.
Блаженствуй, обормот.

Ты скоро вырастешь, пойдешь,
куда беда ведет.
Ну а пока — напрасно ждешь:
ушла и не придет.
Важней всего ее покой.
Порядок на душе у ней.
А в комнате — мороз такой,
что нет его страшней.

Там город с тысячей дорог
и люлькой подвесной,
где бережно сопит выюнок —
бесеныш заводной.
Ему назавтра — пир горой,
кастрюлька с беленькой лапшой.
И дивный мир у детских ног —
волшебный и большой.